

В.В. Шапошникова

Плюшкин

Плюшкин Степан (отчество отсутствует) — персонаж поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», помещик.

Чичиков долго не мог понять, какого пола была стоявшая перед ним фигура: баба или мужик. «Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины». Со временем Чичиков признал в нем старика — как оказалось, ему шел седьмой десяток. «Лицо его не представляло ничего особенного <...> один подбородок только выступал очень далеко вперед <...> маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши <...> Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или на-брюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. <...> Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик».

Даже Чичиков, видавший на своем веку всякие виды, был «поражен представшим беспорядком» в комнате, в которую пригласил его Плюшкин. «Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину». На бюро «лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек <...> какая-то старинная книга <...> лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чашотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая...»

Картину дополняют «люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк» и наваленная на полу «куча того, что поглубже и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Плюшкин владеет тысячей с лишним душ; хлебом в зерне, мукою и в кладях, холстом, сукном, овчиной, высушенной рыбой, овощами у него заполнены амбары и кладовые. На рабочем дворе было заготовлено всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся. «Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывая под мостики, под перекладыны и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе и складывал в... кучу... “Вон уже рыболов пошел на охоту!” — говорили мужики, когда видели его идущего на добычу».

Но так было не всегда. У Плюшкина — единственного из помещиков — есть в поэме биография. Когда-то он был только бережливым хозяином, и соседи приезжали к нему учиться «хозяйству и мудрой скупости». Он был женат и семьянин: приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством, навстречу гостям выходили две милостивые

дочери, выбегал сын. На антресолях жил учитель-француз и гувернантка-француженка. В доме были открыты все окна, все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни, и везде во все входил зоркий взгляд хозяина, который в ту пору «являлся к столу в сюртуке хотя несколько поношенном, но опрятном...».

Но хозяйка умерла, к Плюшкину перешла часть забот, и он стал беспокойнее, подозрительнее и скупее. Старшая дочь скоро убежала со штабс-ротмистром и обвенчалась в какой-то деревенской церкви. Отец проклял ее.

Были отпущены учителя; сын, посланный в город служить в палате, вместо этого определился в полк, скоро проигрался, отец проклял и его «и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете, или нет». Наконец, умерла последняя дочь, находившаяся с ним в доме, и старик очутился сторожем, хранителем и владельцем своих богатств. Одинокая жизнь дала пищу скупости; человеческие чувства, которые никогда у него не были глубоки, мелели ежеминутно. «С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно... было заклеено бумагой; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате... сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже забывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. <...> Должно сказать, что подобное явление редко попадает на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться...»

Приезжала два раза дочь с детьми, Плюшкин брал подарки, сам же не дарил ничего. Он стал неуступчивее к покупателям, которые наконец от него отвернулись. Все у Плюшкина шло прахом, но доход в хозяйстве собирался по-прежнему, вновь становясь гнилью и прорехой, и сам он обратился наконец в какую-то «прореху на человечестве».

В ответ на комплимент Чичикова касательно экономии и порядка Плюшкин пробормотал сквозь губы (зубов у него не было) что-то недружелюбное, но все же пригласил его садиться. Он известил Чичикова, что давно отобедал, а сена в хозяйстве — хоть бы клочок, так что и лошадь гостя покормить нечем. Крестьян у него, по словам его, тоже мало — последние три года горячка выморила здоровенный куш мужиков, со дня подачи последней ревизии до 120 душ. Мужики, по его словам, ленивы, работать не любят.

Предложение Чичикова платить подати за умерших крестьян совершенно изумило Плюшкина, от радости он даже потерял дар речи. Но на его «деревянном лице» радость исчезла мгновенно: он озаботился тем, как это сделать, и стал опять вздыхать о расходах, связанных с оформлением купчей крепости. Услышав, что и это Чичиков берет на себя, Плюшкин подумал, что он служил в офицерах, потому что, по его мнению, они глупы. Это убеждение было у него давнее и неискоренимое: всех военных он считал «картежниками и мотишками»; не доверял Плюшкин и соседу-капитану, набивавшемуся в его родственники; своему зятю-офицеру: он только «мастер притопывать шпорой».

Всех своих дворовых Плюшкин подозревает в воровстве; черты «великодушия» Чичикова тоже стали казаться ему невероятными, и он, к радости Чичикова, поспешил со сделкой. «Ведь черт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки; наврет, наврет, чтобы поговорить да выпить чаю, а потом и уедет!» — подумал Плюшкин.

От удовольствия, что так ладится продажа, Плюшкин решил угостить Чичикова «ликерчиком», в котором, было, «козявки и всякая дрянь... напичкались», но хозяин сор повынимал и теперь он годится к употреблению. Отказ Чичикова привел Плюшкина в еще более благостное настроение. «Пили уже и ели! — сказал Плюшкин. — Да, конечно,

хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт; а как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... Ведь вот капитан приедет: “Дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть!” А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка».

Для окончательного завершения сделки потребовалось доверенное лицо в городе, потому что Плюшкин боялся оставить дом — «народ или вор, или мошенник». Оказалось, что сам председатель палаты — его «однокорытник» («вместе по заборам лазили»), и на этом деревянном лице «вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего. <...> Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, — явление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустынное становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее».

Чичиков наблюдает, как Плюшкин распоряжается по хозяйству и въедливо упрекает своих дворовых Прошку и Мавра в воровстве: он уверен, что Прошка может что-нибудь стащить в кладовой, а Мавра — «подтибрить» листок бумаги, и стращает служанку («...на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками»).

Скупость Плюшкина вызвала брезгливость Чичикова — он поспешил отказаться от «ликерчика», из которого Плюшкин вынул сор; от чая, сухарь к которому было приказано очистить от плесени, а крошки снести в курятник. Назад отнести этот сухарь Плюшкин не доверил никому. На всех углах у него стояли сторожа, колотившие деревянными лопатками в пустой бочонок.

Скупость его доходит до того, что он обедает в людской своих крепостных под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли они едят. Когда он пишет письмо председателю палаты, то стремится выгадать: от листка оторвать часть. Получив от Чичикова деньги, Плюшкин торжественно относит их в бюро, где им суждено быть погребенными до самой смерти хозяина. «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизить человек!» — восклицает автор.

Он, однако, верит Чичикову, когда тот сокрушается, что Плюшкин терпит «по причине собственного добродушия», и цена 32 копейки за беглую душу кажется Плюшкину приемлемой. После отъезда Чичикова Плюшкин решил даже отблагодарить гостя за его великодушие и сделать ему подарок. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет, — прибавил он после некоторого размышления, — лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».